

1 Остановимся и перейдем к более поздним страницам романа о себе и к невыносимо болезненным человеческим разрывам.

Мы увидим прежде всего на первый взгляд пустое и странное, однако ставшее исходным обстоятельство. Уединенно живя с Терезой, а зачастую и с ее матерью (его, так сказать, тещей) г-жей Левассер, которую он заслуженно не мог терпеть, лишь поневоле снося ее полезное для хозяйственных хлопот Терезы присутствие (кто-то из друзей называл обеих женщин его «двумя домоправительницами»), Жан-Жак крайне настороженно относился к попыткам извне вторгнуться в его тесный, устроенный по собственному вкусу, домашний мирок. Прежде всего потому, что это могло бы его разрушить. Покуситься на повседневные простые привычки, связанные с «деревенским» затворничеством. А значит и на его авторский путь.

Непритязательной Терезе такая жизнь была вполне по вкусу. В конце концов, она сама была слишком проста и глубоко привязана к Жан-Жаку.

С жаждающей обогащения и возвышения тещей дело обстояло совсем иначе. «Нетрудно понять, что мое решение и принятый мною образ жизни пришлись не по вкусу г-же Левассер». Тереза старалась ужиться между ними, но что если вдруг она отступит перед своей дорогой мамашей? Ведь

остаться без помощи Руссо уже был не в состоянии. Он откровенно и страшно боялся, что, действуя через г-жу Левассер, может быть, в тайном сговоре с ней, а через нее влияя и на Терезу, его друзья, исходя из собственных прекрасных представлений, как и где лучше было бы жить Жан-Жаку, постараются выкурить его из деревни в Париж (с. 296, 320 и др.).

«Хотя от меня многое скрывали, я видел достаточно, чтобы понимать, что вижу не все ... жестокая мысль, что я никогда не могу быть хозяином в собственном доме и самому себе. Я просил, заклинал, сердился – все безуспешно; мамашаставляла меня вечным ворчуном и грубияном; она постоянно шепталась с моими друзьями; все было тайной и загадкой для меня в моем собственном доме ... Чтобы избавиться от всей этой суетни, понадобилась бы твердость, на которую я не был способен» (с. 320).

Недоумевать и сомневаться незачем. Так ведь оно и бывает.

Таков был узкий, непосредственный, житейский круг «одиночества». (Но, впрочем, к чему тут кавычки?)

Может показаться нелепым или даже потешным, что коротким замыканием, зажигательной искрой всего того, что громоздится дальше в «Исповеди», послужила банальная, хотя и некрасивая бытовая ситуация. Что именно здесь, наряду с социальной крамольностью последних сочинений и понятного озлобления властей, которое объяснялось совсем иными причинами, чем неприязненность просветителей, – кроется конкретный источник необозримой цепи «несчастий», в которых, по словам Руссо, превратилась вся его последующая жизнь. Все сошлось.

Принципиальные идейные, мягко говоря, несовпадения Руссо с Вольтером, Гольбахом и даже Дидро я сознательно оставляю в стороне. У меня иная цель. Сами по себе они едва ли могли привести к остракизму.

Нельзя не подчеркнуть, что сам Руссо великолепно понимал и описывал социально-бытовую почву своего расхождения с философами и сочинителями (с. 425). На указанной странице «Исповеди» можно в какой-то мере ощутить и выход к тому, что я назвал выше самым широким историческим обводом судьбы Руссо. Делать еще одну обширную выписку уже не смею.

А разве, например, у Толстого не было этих двух концентрических обводов? Принципиальном, саморефлексивным и в разных отношениях с конкретными лицами.

Чтобы убедиться в степени реальности причин вспыхнувшей недоверчивости и подозрительности Руссо, попытаемся историю каждого из разрывов проследить по отдельности.

2 Однако сперва пора обратиться к четырем знаменитым письмам Руссо к одному из тех друзей, кто деятельно помогал изданию «Эмиля», Мальзербу (Malescherb), человеку, которого искренне огорчала нервная неустойчивость Жан-Жака и к которому Руссо относился тепло и доверительно. Эти письма лихорадочно последовали одно за другим в январе 1762 г. Их справедливо принято считать тесно связанными с замыслом «Исповеди», к окончательной редакции которой Руссо приступил два с лишним года спустя.

Первое из этих писем явилось ответом на предновогоднее приветливое послание издателя Мальзерба, который знал, что Руссо в это время переживал состояние самой «мрачной меланхолии», вплоть до мыслей о самоубийстве. Мальзерб пытался разобраться в причинах острого кризиса. Он полагал, что все дело в «физике», во внутренних болезнях, снедавших Руссо. А болезни усугублены одиночеством.

Руссо решительно не согласился. Его четыре пространственные ответные послания к Мальзербу тоже крайне уди-

вительны и трогательны.. Они – распахнутые, откровенные, страстные (Lettres... p. 149–168).

Сам он полагает, что его тоска действительно связана с новым положением, которое он приобрел в мире и которое, «может быть, придает его имени большее значение, чем оно заслуживает; но далеки от истины те мотивы, которые ему приписывают литераторы, готовые все отдать ради репутации и судящие о моих чувствах по собственному примеру».

Дело не в тщеславии.

Сердце мое слишком чувствительно к иным привязанностям, чтобы так сильно зависеть от общественного мнения. Я слишком дорожу собственными радостями и своей независимостью, чтобы быть рабом суетности, которая предназначена тому, для кого фортуна и надежда на возвышение никогда не уравновешены свиданием и приятным ужином. Такой человек, как я, естественно, не должен жертвовать своим благом ради желания заставить говорить о себе. Совершенно неправдоподобно, чтобы человек, который ощущает в себе некоторый талант и который медлил до сорока лет, чтобы сделать это известным, оказался настолько не в своем уме, чтобы проскучать оставшиеся дни в пустыне лишь ради того, чтобы прослыть мизантропом. Но, месье, как бы сильно я ни ненавидел несправедливость и зло, эта страсть не могла бы стать настолько подавляющей, чтобы она одна могла заставить меня бежать общества людей, если я и без того сделал достаточно, чтобы удалиться от него: нет, мой мотив менее благороден и гораздо ближе к личному во мне (*plus près de moi*). Я был рожден с естественной любовью к одиночеству, которая возрастала по мере того, как я лучше узнавал людей. <...> Вы считаете меня несчастным и страдаемым меланхолией. О! месье, как вы ошибаетесь! Это в Париже я был таким, это в Париже черная желчь язвила мне сердце; и горечь этой желчи ощущалась во всех писаниях, которые я публиковал, пока там находился. Но, месье, сравните эти

писания с теми, что я сделал, находясь в одиночестве, или я ошибаюсь, или Вы ощутите в них некую душевную просветленность ... по которой можно, наверно, судить о внутреннем состоянии автора. Крайняя возбужденность, которую я в них показываю, могла бы привести Вас к противоположному мнению; но легко заметить, что эта возбужденность вызвана не нынешним состоянием вещей, но беспорядочным воображением ... Постоянный успех сделал меня чувствительным к славе, и невыносимо человеку с возвышенной душой и некоторыми достоинствами помышлять без смертельного отчаяния, что после его кончины под его имя подставят нечто низкое. (Подложные сочинения под именем, в частности, Руссо, были в духе времени – Л. Б.).

Что в конечном счете могло бы послужить причиной этого беспокойства? Не что иное, как неукротимый дух свободы, который непобедим и перед которым почести, фортуна и даже репутация для меня ничто. По правде, этот дух питался во мне не столько гордостью, сколько ленью, но лень эта невероятна; она касается всего. Малейшие публичные обязанности для меня несны: завести речь, написать письмо, сделать визит и что бы то ни было в этом роде для меня обременительно. Вот почему, хотя повседневные дела с людьми для меня ненавистны, так дорога для меня интимная дружба, ибо она ни к чему не принуждает. Следуй своему сердцу, и все будет хорошо. Вот еще почему я всегда с таким смущением принимаю подарки, ведь подарок требует ответной признательности, и вот уже я ощущаю сердечную неблагодарность, оттого что признательность обращается в долг... (р. 149–151).

Многие фразы из писем к Мальзербу перекочевали потом в «Исповедь».

Во втором письме к Мальзербу Руссо рассказывает, какой переворот произвело в нем одобрение Дижонской академией в 1749 г. «Рассуждений о науках и искусствах» и незамедлительная в следующем же году их публикация. Сначала

он подробно, нет, скорее взмахнул, в неправдоподобно длинной фразе, которая словно была не в силах остановиться, – описывает, в каком невероятном, внезапно нахлынувшем приступе умственного возбуждения и опьяняющей страсти, притом испытав это впервые в жизни, писал он свой первый трактат. Ему было уже под сорок, но никогда такого с ним не происходило. Он почувствовал себя совершенно свободным от ходячих мнений, «независимым от всех», счастливым. Ему писалось легко, его словно бы несло, начиная уже с названия. Он понял, что только ложные мнения суть источник всех человеческих бед и изъязнов. Он разом достиг того самого положения, *«когда не желают больше быть рабом, но хотят жить на свой вкус и независимо ... В этом частично коренятся невзгоды, которые изгнали меня из Парижа и продолжали преследовать в изгнании ...»* другим моим бичом в этом огромном городе были толпы тех людей, которые, считая себя моими друзьями, угнетали меня и которые, судя о моем сердце наподобие своих, *непрерывно хотели сделать меня счастливым на свой лад, но никак не на мой собственный ... Я не был истинно свободен в то время»* (р. 156–157).

Эти признания не требуют комментариев. Поскольку ими служат также многие весьма конкретные страницы «Исповеди», к которой мы вскоре вновь обратимся

Третье январское письмо к Мальзербу – не что иное, как экстатический и задушевный монолог о счастливых переживаниях, испытанных в Эрмитаже, с описанием одного обычного дня, проведенного там в лесных прогулках, в сопровождении любимого пса по кличке «Турок». «Я начал жить по-настоящему только 9 апреля 1756 года» (р. 156).

И последнее письмо, спустя всего два дня.

Я открыл Вам, меесье, секреты моего сердца, истинные мотивы моего уединения и всего моего поведения, мотивы, без сомнения, менее благородные, чем те, которые Вы могли бы предположить, но именно они, однако, состав-

ляют содержание моего Я (*de moi-même*) и придают мне душевную гордость человека, который чувствует себя правильно устроенным, имея мужество жить в согласии с бытием, и верит, что заслуживает этого. *От меня зависит не обзаводиться другим темпераментом или же другим характером, но пользоваться своим собственным во благо самому себе и ничуть не вредя другим.* Это уже многое, месье, и мало людей, которые могли бы сказать то же самое.

<...> Ваши литераторы вовсю кричат, что один человек [сам по себе] бесполезен для остального мира и выполняет свои обязанности лишь в обществе. А вот я – считаю, что [каждый из] крестьян Монморанси более полезен обществу, чем вся эта куча бездельников, оплачиваемых шесть раз в неделю [за счет народа], чтобы приходить поболтать в академиях. И я очень доволен, что могу при случае доставить некоторое удовольствие моим бедным соседям, помогая спроводить эти толпы мелких интриганов, коими переполнен Париж, и которые все жаждут чести занять теплое местечко плута, между тем как ради приличных людей, да и для пользы самих этих мошенников, всех следовало бы направить возделывать землю в провинциях.

Все те же мотивы. Не возникает ли у вас неисторичное искушение воспроизвести их вот сейчас, допустим, применительно к России?

Вновь и вновь он считает причиной удаления от парижского общества несовпадение своих личных вкусов и склонностей, своей «манеры существования» со светскими привычками других людей.

Он прав. То есть причина носит *социально-культурный* характер.

Эрнст Кассирер очень удачно использовал для разъяснения ситуации выписку из «Новой Элоизы», 2, XIV – письмо Сен-Пре к Юлии из Парижа (р. 43). Я по-

следую его примеру, притом расширив выписку. Это, пожалуй, лучший роман сентиментализма, если не считать «Исповеди» и не менее исключительного английского «Тристрама Шенди» Стерна. Написана «Новая Элоиза» была в 1761 г., во время начавшегося кризиса Руссо.

С тайным ужасом вступаю я в пустыню, называемую светом. Эта суэта представляется мне лишь воплощением страшного одиночества, царством унылого безмолвия ... Здешнего языка я не понимаю, да и моего языка здесь не понимает никто...

А ведь встречают меня весьма радушно, по-дружески, предупредительно, расточая знаки внимания, – но именно на это я и сетую. Ужели можно сразу стать другом человека, которого никогда раньше не видел? Благородное сочувствие к человечеству, простосердечная и трогательная искренность нетронутой души владеют языком, весьма отличным от показной учтивости и от тех обманчивых приличий, которых требуют светские правила ... И вот я вижу, что вертопрахи проявляют горячее участие ко многим сразу, я готов предположить, что они не испытывают участия ни к кому.

Однако же во всем этом может быть и нечто подлинное. Ведь француз от природы добр, чистосердечен, гостеприимен, благожелателен, но вместе с тем есть у французов тысячи пустых фраз, которые никак нельзя понимать буквально, тысячи лицемерных предложений, которые делаются в расчете на то, что вы откажетесь, тысячи всяческих ловушек, которые светская учтивость составляет перед сельской простосердечностью ... Если бы все эти слова были искренни и не расходились с делом ... Ну, а вместо этого, пожалуй, нет другого города в мире, где наблюдаешь такое неравенство состояний и где одновременно царят и невероятная роскошь, и самая неприглядная нищета. Легко понять без разъяснений, что означает

мнимое сострадание, которое как будто готово поспешить на помощь ближнему, и эта кажущаяся сердечность, готовая легкомысленно заключить мгновенный договор о вечной дружбе¹⁶.

И еще.

Я был бы гораздо более бесполезен моим соотечественникам, живя среди них, нежели могу быть при подходящих обстоятельствах, в своем удалении. Какую важность имеет место, в котором я проживаю, если я действую там, где должен действовать? (Lettres... p. 164–165).

3 Опять «Исповедь».
Разрыв с Гриммом и, гораздо более мучительный и приторможенный, с Дидро.

У меня было довольно много знакомых, но только два избранных друга – Дидро и Гримм. Моей натуре свойственно желание объединять всех, кто мне дорог, и я так любил их обоих, что и они вскоре подружились. Я свел их; они сошлись и стали более близкими друзьями между собой, чем со мной ... Все мои друзья стали друзьями Гримма, – это было очень понятно; но никто из его друзей не стал моим другом, – вот что было уже менее понятно (с. 321–322).

Первые нотки обидчивости и недоверчивости.

Во время странной демонстративной «летаргии» Гримма, посредством которой он счел нужным выказать свое отчаяние в качестве отвергнутого ухажера мадемуазель Фель, Руссо был постоянно у постели мнимого больного в очередь с аббатом Рейналем (вот, «несомненно, горячо преданный [мне] друг», попутно замечает Руссо). Между

тем после «выздоровления» Гримм, ставший сразу романтически модным в большом свете, «постепенно все больше ускользал от меня, и я это ясно видел...».

Попутно. «Главным местом наших встреч ... был дом барона Гольбаха. Этот барон, сын выскочки, обладал довольно большим состоянием и пользовался им благородно, принимая у себя писателей и людей выдающихся; сам он, благодаря своим знаниям и просвещенности, был среди них на своем месте». Но в ответ на попытки Гольбаха тесней сблизиться с Руссо, тот вел себя прохладно и прямо пояснил причину этого: «Вы слишком богаты» (!).

Тем не менее тот добился своего. «Величайшим моим несчастьем всегда было неумение противостоять ласке; я всегда уступал ей, и это всегда кончалось для меня плохо» (с. 323).

Спустя некоторое время Руссо считал провокационным поведение Гольбаха (заодно и Гримма) в связи с историей некоего музыкального трио, нанесшей, как полагал Жан-Жак (признавая и собственную неосторожность), ущерб его композиторской репутации (с. 333). Затем случился еще один эпизод в доме Гольбаха, который «напал на меня без причины, без повода и с величайшей грубостью, в присутствии Дидро, не проронившего ни слова в мою защиту...»

Их отношения после этого эпизода пока еще не были окончательно расколоты, но дело подвигалось к обоюдному и полному отчуждению. Руссо считает нужным подчеркнуть, что «это не помешало мне говорить всегда с уважением о Гольбахе и его доме». Подоплекой поведения Гольбаха Руссо считает зависть к его композиторским успехам (с. 337). Такая, уже в общем виде известная нам версия «зависти» друзей, опять представляется фантастической игрой задеготого самолюбия, которое у Руссо чаще всего давало о себе знать как раз в связи с музыкой.

Что до «интриг» вокруг Терезы и ее матери, то нам следует высказаться гораздо осторожней...

Ибо, увы, интриги были.

Еще ранее, после того как Руссо не явился на аудиенцию к королю (сам он считал этот поступок тоже переломным моментом в своей жизни – с. 328), отношения с Гриммом и Дидро начали быстро и недвусмысленно портиться. Те, по мнению Руссо, «казалось, поставили себе задачей отдалить от меня моих домоправительниц, давая им понять, что если они живут в нужде, то этому причиной моя злая воля и что со мной они никогда ничего не добьются. И тот, и другой старались уговорить их покинуть меня, обещая им при помощи влияния г-жи д'Эпине мелочную торговлю солью, табачную лавку и не знаю что еще. Они хотели даже вовлечь в свой заговор Дюкло и Гольбаха, но первый всегда отказывался от этого. Я тогда отчасти догадывался об этой интриге, но более определенно узнал о ней только долгое время спустя, и мне часто приходилось оплакивать слепое и нескромное усердие моих друзей; они заботились только о моем счастье, но прибегали для этого к средствам, которые могли сделать меня только несчастным: при моем болезненном состоянии меня стремились довести до самого печального одиночества» (с. 332).

Что мы должны думать обо всем этом?

Прежде всего, справедливости ради нужно отметить, что Руссо, уже выдвинув свои горькие упреки в адрес друзей, порывает с ними не без колебаний и благородных возвращений, – например, после смерти милой жены Гольбаха посылает ему сочувственное письмо и возобновляет визиты к нему; подчеркивает особую ценность замечаний Дидро по поводу трактата «О происхождении неравенства» (хотя и оговаривает, что тогда он еще не догадывался о «великом заговоре Дидро и Гримма» – с. 346, 339. Но и позже – любовь, особенно к Дидро, уходила медленно и в каких-то судорогах (с. 391, 401). А обвинения против Гримма сопровождались словами о действительных интеллектуальных достоинствах этого друга, ставшего невыносимо ненавистным (с. 406).

Заключение о «великом заговоре» выглядит риторическим преувеличением. К этому еще не раз придется вернуться. Тем более что сам Жан-Жак признает, что эти друзья по-своему желали ему добра, лишь пользовались дурными средствами. Что до фактических оснований разраставшейся в Руссо ненависти к матери Терезы и возмущения относительно мелочных заигрываний с ней его ближайших друзей, – такие основания были. Тереза долго их скрывала, но в конце концов была вынуждена полностью раскрыться (с. 365–366, 392, 414).

Повторяющиеся настоятельные мотивы своей любви к уединению посреди природы, все большей постылости для него суетной светской жизни и этикетных тягот в Париже (с. 359 и др.), заслуживают, как и на протяжении всей «Исповеди», нашего полного доверия. Правда, стилистика таких уверений не могла не зависеть от сентименталистских общих мест. Тереза обещала никого не приглашать в «Эрмитаж», но гости наезжали и завладевали убежищем Жан-Жака в его отсутствие. Соответственно разрасталась трещина в отношениях с Терезой. «Мы жили в близком общении, не имея близости между собой» (с. 367).

Клубок бытовых обстоятельств и обид Руссо от страницы к странице становится все больше и запутанней. Гримм стал любовником г-жи д'Эпине и делал – часто посредством пустяшных способов – приезды к ней Руссо все более тягостными и обидными.

4 Разрыв с д'Эпине.
Да, да, с той самой влиятельной и богатой дамой, хозяйкой известного тогда салона, о которой Руссо как-то молвил: «Я слишком любил ее как друг, чтобы любить ее как любовник» (с. 358). Она однажды растрогала его, прижав свою теплую нижнюю юбку, дабы тот переделал ее в

жилет. И теперь тайно разжигала ревность Терезы, уверяла, что Жан-Жак ей изменяет (в отношении Терезы, спокойно прощавшей ему все, что угодно, это был пустой номер). Требовала, чтобы та показала ей письма к Руссо от г-жи Удето...

Историю их, сдержанно говоря, охлаждения Руссо сопровождает воспроизведением последовавшей переписки. Суть ее сводится к тому, что сначала Жан-Жак получил от д'Эпине (уже зная от Терезы об ее интриге) очень милую записку с беспокойством об его здоровье: «Что это вас не видно, дорогой друг?» Руссо ответил приятельнице, ранее всегда ласково-обходительной и щедрой к нему, крайне резко и угрожающе, буквально в трех фразах. Та написала вновь — умно, удвоив ласковость и объем послания, с тревожным недоумением, определенно наигранным. Руссо опять ответил, гораздо обстоятельней, прямей, с гневными намеками на суть происшедшего между ними: «Узнаю обычную вашу ловкость в том, что вы находите мою записку непонятной». Тогда «жестокая и опытная интриганка» написала в третий раз. И опять: «Я не поняла вашего утреннего письма».

Вся эта эпистолярная перестрелка произошла за один день. Руссо был вынужден немедленно отправиться к ней для решающего объяснения. Его ярость, пишет он, тем временем стихла, зато он понял «всю чудовищную неосторожность своих действий» и страшно тревожился, как бы не проронить имена Терезы и д'Удето. Это дорого бы обошлось любой из них.

При моем появлении г-жа д'Эпине, вся в слезах, бросилась мне на шею. Такой неожиданный прием, да еще со стороны старого друга, чрезвычайно меня растрогал, и я тоже расплакался. Я сказал ей несколько слов, не имевших особого смысла, она тоже сказала несколько слов, в которых его было еще меньше, и все этим кончилось (с. 390–393).

Первый раунд разрыва был Жан-Жаком, таким образом, проигран.

Кажется, д'Эпине к тому же ревновала Руссо к своей сестре (с. 392). Жан-Жак все острее чувствовал зависимость от повелений и настроений истинной хозяйки «Эрмитажа». Так, кстати говоря, бывало часто с «его» временными жилищами. Он стал подумывать о неизбежности бегства из этого любимейшего уголка.

Все это было тем горше, что происходило на фоне мучительной и непозволительной страсти к Софи Удето и последующего резкого охлаждения к нему любимой женщины.

Довершилось все с д'Эпине несколько позже – все-таки полной ссорой и потерей «Эрмитажа», который Руссо после очередного крайне резкого письма его владелицы был вынужден немедленно покинуть 15 декабря 1757 г., в самый опасный для его здоровья сезон (с. 424–425). К счастью, случай помог ему, как уже упоминалось, благодаря принцу Конде, найти приют в садовом доме Мон-Луи близ герцога Люксембургского. Подробности мы опустим. Достаточно сказать, что Руссо обустроился там достаточно уютно, разделив единственную комнату надвое и превратив башню в свой кабинет, посадив перед жилищем любимые цветы и т. п.

Руссо нагромождает столько мелких эпизодов неуклонного разрыва с четырьмя друзьями – Гриммом, «гольбаховой кликой», мадам д'Эпине и самим дражайшим Дидро, что у нас нет решительно никаких возможностей разобраться до конца в жалобах Жан-Жака. Например, Дидро нашлось, что сказать со своей стороны. Как и зачем нам судить, впрямь ли «выскачка» Мельхиор Гримм был настолько высокомерен, груб и фатоват?

Говоря откровенно, я не вижу не только надежного способа, но и крайней необходимости разбираться в кружковщине и дрязгах в среде энциклопедистов.

Болезненная ранимость Руссо? Пожалуй, бесспорно.

Чрезмерная подозрительность? Не знаю; может быть. Хотя реальные основания для нее в данной ситуации были.

Но Руссо вообще-то был действительно склонен воображать бог знает что по поводу и скромных эпизодов. Достаточно вспомнить, что однажды он заподозрил в причастности к интригам даже д'Удето, о чем тут же горько сожалел и винил себя.

Уязвленное чувство достоинства и утраты личной независимости, тревога по поводу затеянной вокруг него склоки, боязнь относительно дальнейших возможностей уединения, просто задетое самолюбие? Почему бы и нет.

Но для исторического понимания всей этой «бури, захлестнувшей меня», по моему разумению, существенны не смятение чувств и не наши следственные усилия, – даже если бы выслушать и тех, кого Руссо считал предателями. Ясно, что они всё отрицали и даже – в чем-то – тоже правдиво. Дружба с Руссо требовала спокойного терпения и понимания. Дружить с Руссо было непросто.

Добавлю, однако, любопытный упрек Руссо по отношению к Гримму.

Общение с великими мира сего до того вскружило ему голову, что он стал напускать на себя важность, какая бывает только у самых неразумных вельмож. Он никогда не звал своего лакея иначе, чем «Эй!», как будто монсеньор Гримм не знал, кто из множества его слуг дежурит при нем. Посылая слугу за покупками, он бросал деньги на пол, вместо того чтобы дать в руку. Словом, он совершенно забывал, что его слуга – человек, и обращался с ним с таким возмутительным презрением, с таким черствым пренебрежением... (с. 407).

Вот уж эдакое нельзя «заподозрить», вымыслить – только описать. В комментариях это тоже не нуждается и недоверчивости вызвать у нас не может. Это слишком конкретно и зримо, поэтому достоверно. Особенно если не забывать, что и Жан-Жак в юности служил лакеем у *господ Верселис*.

5 Решающими и очевидными в драматических оценках ситуации самим Жан-Жаком, с точки зрения истории культуры и нравов, полагаю два следующих пункта. Они будут очередной обновительной переформулировкой, перерачиванием предложенной исследовательской линзы.

В чисто практическом плане распря действительно имела, как мы теперь сказали бы, внешне-бытовые корни. Она, как ни диковинно для нас, проистекала из общего недовольства тем, что Руссо всерьез решил оставаться более или менее затворником. И она тягостно нарушала его домашнюю атмосферу и его обыкновения.

Когда он получил в дар возможность жить в «Эрмитаже», на него «градом посыпались насмешки; уверяли, что я нуждаюсь в фимиаме, в городских развлечениях и что я не выдержу одиночества даже в течение двух недель. Зная истину, я не мешал им говорить что угодно и продолжал действовать по-своему» (с. 341). Затем заподозрили, что Руссо собирается остаться в деревне на всю зиму. Если не навсегда. Как?! И обеспокоились уже не на шутку, по-видимому, искренне...

«...Я плохо выдерживал роль [мизантропа]: Мои друзья и близкие знакомые водили этого дикого медведя, как ягненка, и я не мог сказать кому бы то ни было ни одного обидного слова» (с. 321).

6 Расхождения с друзьями, которые начинали все больше раздражать Руссо, как я уже отмечал, внешне подчас едва ли не смешны. Они всецело относились к его повседневному привычкам и предпочтениям, «из-за их упорного, даже ожесточенного противоречия моим вкусам, склонностям, образу жизни, — до такой степени, что стоило мне только высказать желание по поводу чего-либо, что могло интересовать только меня, как они тотчас же объеди-

нялись против меня, вынуждая меня от этого отказаться. Это упорное контролирование всех моих поступков, тем более несправедливое, что я не только не контролировал их поступки, но даже не осведомлялся о них, стало мне до того тягостным, что даже письма их внушали мне какой-то ужас, когда я их распечатывал» (с. 370).

О, не совсем так. Все же не просто в ограниченно-частной и мелочной бытовой плоскости коренился непонятный сговор столь разных людей.

Судя строго, «они» от души стремились «контролировать» поведение Жан-Жака, потому что *сами* находились во многом под контролем привычной светской или кружковой парадигмы поведения. И хотели бы подчинить ей также отклонявшиеся от нее экзотические и нелепые замашки Руссо.

Если б наши удовольствия [с Терезой] можно было описать, они вызвали бы смех своей простотой: наши прогулки вдвоем за городом, где я роскошно тратил девять-десять су в каком-нибудь кабачке; наши скромные ужины у моего окна, где мы сидели друг против друга на двух низеньких стульях, поставленных на сундук, занимавший всю ширину амбразуры. Подоконник служил нам столом, мы дышали свежим воздухом и могли видеть окрестности, прохожих и тут же, хоть и с четвертого этажа, за едой рассматривали улицу. Кто опишет, кто поймет очарование этих трапез, состоявших вместо всяких блюд из ломтя простого хлеба, нескольких вишен, кусочка сыра и полсеты [примерно стакана] вина, которое мы распивали вдвоем? (с. 308).

Итак, Руссо прекрасно сознавал исходную, так сказать, социально-бытовую подоплеку своих расхождений с «философами».

Еще одна выписка о тех временах, когда Руссо уже не в состоянии был сохранить спокойствие и терпимость

к более светскому поведению других, потеряв в результате достойную его образованную среду и страдая от этого невыносимо.

Обладая именем уже знаменитым и известным во всей Европе, я сохранил всю простоту своих прежних вкусов. Мое смертельное отвращение ко всему, что называется сговором, кликой, интригой, сохранило мне свободу и независимость, не знающую других цепей, кроме сердечных привязанностей. Одинокий, всюду чужой, живущий в уединении, без опоры, без семьи (...) не переписываясь ни с кем о злободневных событиях, не имея отношения к тому, что делается в свете, не получая никаких известий и не интересуясь ими, я жил в четырех лье от Парижа (...)

Гримм, Дидро, Гольбах, наоборот, находясь в центре круговорота, жили, вращаясь в самом высшем свете и делили между собой едва ли не все его сферы. Сговорившись, они могли заставить слушать себя всюду: среди вельмож, остроумцев, литераторов, судейских чинов и женщин (...) Правда, Дидро и Гольбах были не из тех (по крайней мере, я так думаю), кто способен плести черные интриги (...).

Главный свой гнев и отвращение Руссо в очередной раз обращает в адрес Гримма (с. 428–429).

Между тем Жан-Жак, пусть и живя под Парижем, изредка бывал в деревнях, но непременно «в обществе людей с претензиями, всегда испорченные условностью они только обострили во мне жажду сельских удовольствий ... Мне так надоели гостиные, фонтаны, рощи, цветники, а еще больше скучное тщеславие, выставляющее все это напоказ, я так был измучен брошюрами, клавирином, игрой в “трик”, новыми знакомствами, глупыми остротами, пошлым жеманством, ничтожными пустомелями и торжественными ужинами, что когда украдкой бросал взгляд на скромный простой куст терновника, на изгородь, луг, оwin, когда я вдыхал, проходя

о деревушке, запах вкусной яичницы ... когда слышал вдалеке безыскусственную песню пастушек, — я посылал к черту румяна, и фижмы, и амбру. С сожалением помышляя о доашнем обеде и местном вине, я от всего сердца дал бы оплеку и господину главному повару, и господину дворецкому, оставивших меня обедать в тот час, когда я обычно ужинаю, ужинать в тот час, когда я сплю ...» (с. 359).

Я готов сто раз согласиться, что в обвинениях и жалобах Жан-Жака есть эмоциональные (они же — стилистические) преувеличения, что не все надо толковать буквально, что его подозрения и страдания обострены холерической пылчивостью.

Но в чем же Жан-Жак ошибается, как теперь вырались бы ученые люди, *по существу коммуникативной ситуации*, которая развела вчерашних ближайших друзей? Разве что в естественной неспособности понять до конца, насколько эта ситуация была исторически и социально, а отому и психологически глубока, и никак не сводилась к характерологическим личным различиям.

Тем не менее его пронизательности доставало на то, чтобы подытожить поворот в своей жизни следующим образом.

Отвратившись от друзей-покровителей, желавших во что бы то ни стало распоряжаться моей судьбой и поработить меня своими непрошенными и мнимыми благодеяниями, я решил впредь ограничиваться отношениями, основанными на простом доброжелательстве, которые, не стесняя свободы, составляют отраду жизни, ибо необходимым условием их является равенство. У меня было достаточно такого рода связей, и я мог наслаждаться радостями общения с людьми, не мучаясь зависимостью от них. Как только я отведал такого образа жизни, я почувствовал, что в моем возрасте мне ничего иного не надо, что благодаря ему я могу кончить свои дни в тишине и спокойствии... (с. 433).

Меня изумляет сам этот тон, сам словно бы *наш* непринужденный и доверительный стиль высказываний. Ничего такого не найдешь ни у великих Вольтера и Дидро, безмерные достоинства сочинений которых связаны с другой речевой стилистикой. Ни у кого в веке Просвещения.

И далее Жан-Жак с большой приязнью, теплотой и уважением рассказывает о довольно многих новых достойных приятелях, с которыми он сблизился во время жизни в Монморанси. Перечислять их не стану. Таков наш «гордец» и «мизантроп».

Он ненавидел такие оценки.

«Что может быть смешней, чем противопоставлять чувство общего существования чувству своего личного существования, думать, что все создано для меня, что я один познаю все относящееся к Нему» (*Confession de foi*, p. 155–157).

Я другой, но я не один, я сам по себе и я в обществе. А как же вменяемый человек может думать иначе. Жан-Жак вменяемый человек.

И последняя выписка из «Исповедания веры», чтобы покончить с проблемой отношения Руссо «ко всем другим».

«Я не знаю, будут ли муки злодеев (*méchant*) вечными. В любом случае, я преклоняюсь перед Тобой. Разве злодей не мой брат? Пусть же и он будет когда-либо счастлив, как я. Его благо прибавится к моему» (p. 219).

Он, Руссо, не ревнует.

7 Из «бытовой» и психологической канвы произрастало нечто наиболее серьезное, наиболее историчное, нечто наиболее важное в плане, если угодно, культурно-теоретическом.

Я уже отмечал, что Руссо понял: главной причиной странного «нападения» были не теоретические или вообще идейные разногласия с энциклопедистами. Хотя такие

разногласия, как известно, действительно существовали, но обострились позже. Ссоры с друзьями произошли не из-за его социальных трактатов (хотя необычных и маргинальных для преобладающих интересов Просвещения). Короче, не из-за книг Руссо.

Книги (до поры до времени!) без чрезвычайных препонов выходили в Голландии, некоторые были известны во Франции до переезда в «Эрмитаж», и если бы дело заключалось в неприемлемости их содержания, скандал разразился бы раньше, справедливо рассуждает Руссо: «...книги послужили предлогом, а целью нападения был я сам (ma personne, р. 493). Очень мало беспокоились об авторе, но хотели погубить Жан-Жака (...) Я не знаю, разъяснится ли впоследствии в глазах читателей эта тайна, до сих пор непонятная для меня (с. 354). Я тоже не знаю, судя по суждениям моих друзей. Но не перестаю надеяться».

Мы сегодня, после двух с половиной столетий развития европейского индивидуализма, идей *personnalité* и *privacy*, возможно, и впрямь способны уяснить это лучше, чем Жан-Жак. Он же, впервые столь отчетливо защищая свои вроде бы сугубо конкретные права свободного и своеобразного человека, еще даже не употребляя понятия «личность» (*personne* – не «личность»!), не мог знать, насколько был принципиален и далек его заплыв в будущее.

Милые друзья, великие вольнодумцы, независимые и отважные, притом привыкшие в светском обществе или в своем кругу все же следовать соответствующему этикету, словом, люди из того же «хорошего общества», дворяне – также не могли осознать, что их, собственно, так бесит. То, что Жан-Жак не хочет проводить с ними зиму в Париже?

Между тем не только в эпатирующей простонародности и чуждости им вкусов Руссо, а в наибольшей культурной глубине его загадочного отстаивания права на личные способы, – мимо всяких коллективных ментальностей, – имен-

но вот так жить, действовать, думать, отдыхать, — скрыты источники его личной (и исторической) трагедии.

Если согласиться с предлагаемой здесь точкой зрения, все прочее — степень обоснованности тех или иных догадок и подозрений, роль в реакции Руссо его индивидуальной психики, некоторые частные, бездоказательные и наивные предположения (вроде якобы зависти к музыкальной известности) — все это мелочи. Это не слишком принципиально. Как не слишком важна ошибка Колумба, думавшего, что он плывет в Индию.

Важно то, что европейцы открыли Америку.

Для Руссо его Америго Веспуччи звали Вильгельмом фон Гумбольдтом.

Или, если угодно, это был Джон Стюарт Милль.

Или Гёте и Фихте. И романтики.

8 О разрыве с Дидро.

«Дидро был мой самый старый друг, почти единственный, оставшийся у меня...» (с. 423). «Я нежно любил Дидро, искренне уважал его и с полным доверием рассчитывал на те же чувства с его стороны. Но выведенный из терпения неутомимым упорством, с каким он вечно нападал на мои вкусы, склонности, образ жизни, на все, что касалось только одного меня ... хочет во что бы то ни стало руководить мной, как ребенком...» (с. 397). Мы не услышим об обидах Руссо ничего существенно нового по сравнению с поводами других ссор.

Кроме одного любопытного пункта. После опубликования «Побочного сына» Дидро прислал Жан-Жаку «экземпляр этой книги, и я прочел ее с тем интересом и вниманием, с каким относишься к произведениям друга». Среди прочих сентенций Дидро Жан-Жак вдруг увидел «суровое и резкое суждение, произнесенное без всяких оговорок "Только злой

любит уединение"... Суждение это само по себе требовало пояснения, тем более со стороны автора, у которого в то время, как он его опубликовал, был друг, удалившийся в уединение. Мне казалось непристойным и неучтивым, что, публикуя это суждение, он забыл этого одинокого друга...», и т. д. (там же).

Добавим к этому, что Дидро зачем-то раскрыл Сент-Ламберу страсть Руссо к Софи. Так считал Руссо.

И опять обмен письмами с взаимными упреками и возражениями (с. 398–401).

2 марта 1758 г. Руссо делает последнюю попытку разумить друга, обратившегося во врага.

Нужно, мой дорогой Дидро, чтобы я написал Вам еще раз... Самое большое преступление этого человека, которого вы черните столь странным образом, состоит в том, что он не в силах порвать с вами... Я не собираюсь пускаться в объяснения... Будучи предубежденным против меня так, как это произошло с вами, вы обернете во зло все, что я мог бы сказать в свое оправдание... Нет, Дидро, я чувствую, что это не то, с чего следует начать. Я сперва хочу предложить вашему здравому смыслу предварительные суждения, которые вполне просты, вполне верны и лучше обоснованы, чем ваши, и в которых, как я, по крайней мере, думаю, вы не смогли бы найти новых преступлений.

Я скверный человек, не так ли? Вы имеете к тому самые надежные свидетельства; это характеризует вас с самой лучшей стороны. К тому времени, когда вы начали это прозревать, шестнадцать лет я был для вас человеком хорошим и сорок лет таким же для всего мира; могли бы вы сказать то же самое о тех, кто вам сообщил это прекрасное открытие? Если можно так долго носить маску порядочного человека, какие у вас доказательства, что маска не прикрывает их лица так же, как мое?

Я скверен, но почему я такой? Берегитесь, дорогой Дидро, это заслуживает вашего внимания, нет ничего тако-

го, что могло бы обратить меня в чудовище, никаких причин ожидать сорок лет, чтобы проявить свои дурные склонности. Итак, примите во внимание мою жизнь, мои страсти, мои вкусы, мои склонности, и если я скверен, какой интерес мог побудить меня стать таковым? Я, который на свою беду всегда обладал слишком ранимым сердцем, что выгадал я, порывая с теми, кто были мне дороги? К какому положению я стремился? На какие пансионы, на какие почести я претендовал? Каких конкурентов желал удалить? Что мне могло принести злодеяние? Мне, кто ищет только одиночества и покоя, мне, которым правят лень и праздность?

Руссо просит подумать надо всем этим, не торопясь с ответом.

Вас могли сбить с толку и обмануть. Однако ваш друг изнывает в одиночестве, забытый всеми, кто был ему дорог. Он может погрузиться в отчаяние, помереть, в конце концов... Может быть, доказательства его невиновности появятся у вас наконец, и это заставит вас почтить его память, и образ вашего умирающего друга лишит вас сна... Дидро, подумайте, я вам больше ничего не скажу (Lettres... р. 119–121).

Дени Дидро не ответил на эту последнюю, отчаянную мольбу.

Я не хочу это комментировать. Скажу лишь, что слишком ясно, кто страдает от разрыва и кто остается неуязвим и спокоен. Остается лишь действительно загадочная фраза о том, что «только злодей любит уединение».

Что ж, расхождение со всеми вчерашними друзьями – Гриммом, Гольбахом, д'Эпине, Дидро – уснащалось с обеих сторон бесчисленными бытовыми деталями и сплелось в один запутанный клубок обид. Повторяю, было бы излишне пробовать его полностью раскрыть.

Но фраза Дидро об «уединении» как раз вытягивает некую тонкую нить. Как ни странно, скандал концентрируется исключительно вокруг желания Руссо покинуть Париж и постоянно жить в четырех милях от него, в уединенном «Эрмитаже». Жан-Жак это понимал со всей отчетливостью (см. выше). А источник и подоплека конфликта еще раз подтверждаются отвлеченным и действительно малопонятным суждением в «Побочном сыне». О том, как я толкую эту историческую подоплеку, уже было сказано достаточно.

Они все же еще раз увиделись, и Руссо рассказывает об этом с внезапной теплотой и растроганностью (с. 423). А когда старинная привязанность к Дидро все-таки иссякла до последней капли, Руссо, возмущенный публичным выпадом Гримма против Дени Дидро, резко противопоставляя Дидро и Гримма, написал следующее. «Порвав с Дидро, которого я считал не столько дурным, сколько нескромным и бесхарактерным, я навсегда сохранил по отношению к нему в душе привязанность, даже уважение, и чтил память о нашей прежней дружбе, так как знал, что она была с его стороны такой же искренней, как и с моей» (с. 466). Руссо признавался, что до конца дней перечитывал и хранил в душе Дидро.

В каком-то смысле внутреннего разрыва вообще еще долго или совсем не было.

Но разрыв отношений – был.

9 Остается упомянуть о безнадежной несовместимости с Вольтером. Это, пожалуй, могло бы стать особым и наиболее любопытным поводом исследования для типологического сопоставления просветительских, так сказать, индивидуализмов. Но оно увело бы меня слишком далеко от намеченной цели. Оно превратило бы рассказ об одном герое в рассказ о двух героях. Поэтому придется ограничиться краткой констатацией.

Это был «разрыв» без разрыва. Но в смысле противоположном казусу с Дидро. Потому что никогда не было и намека на дружбу двух столь антагонистических умов и характеров. Я не стану пытаться подробно и неизбежно поверхностно судить о существовании этого антагонизма, на сей раз не имевшего приземленной житейской подоплеки, но вытекавшего из коренных идейных, стилевых и характерологических расхождений.

Я не смею судить, кто из них был более несправедлив к другому. Тем более что я не занимался специально личностью Вольтера.

Молодой Руссо жадно читал Вольтера.

Ничто из того, что писал Вольтер, не ускользало от нас. Мой интерес к его произведениям вызывал во мне желание научиться писать изящно и стараться подражать прекрасному слогу этого автора, который восхищал меня. Немного позже появились «Философские письма». Они, конечно, не являются лучшим его произведением, но именно они развили во мне любовь к знанию, и эта зародившаяся страсть с тех пор уже не угасала (с. 191).

Руссо и Вольтер, если не ошибаюсь, так и не общались лично, хотя и могли познакомиться, бывая в одних тех же салонах. Но принялись по инициативе Руссо изредка переписываться. Тон вольтеровских писем становился все более снисходительным и язвительным. Но переломный момент оказался связан, как это ни удивительно, с появлением мрачной поэмы «О разрушении Лиссабона» Вольтера, который из этой катастрофы вывел отрицание Провидения и теодицеи.

Жан-Жак ответил в 1756 г. посланием (Lettres... р. 73–89), переданным Вольтеру («зная исключительную чувствительность его самолюбия») через доктора Троншена. (Их самолюбия были, думаю, соразмерны, хотя и весьма различны по окраске.)

Руссо объяснил в «Исповеди» житейскую подоплеку своего возмущения так.

«Пораженный тем, что этот "бедняга", так сказать, подавленный благополучием и славой, тем не менее горько вопиет о бедствиях человеческой жизни и утверждает, что на земле все плохо, я задался безрассудной целью заставить его прийти в себя и доказать ему, что все на свете прекрасно. Вольтер, всегда делавший вид, будто верит в бога, на самом деле верил только в дьявола, ибо его мнимый бог — существо злокозненное, которое, по его представлению, находит наслаждение только в том, чтобы вредить людям. Бросающаяся в глаза нелепость этой доктрины особенно возмутительна, когда человек пользуется всевозможными благами, вкушает полное счастье, но стремится довести своих близких до отчаяния страшной и жестокой картиной всевозможных бедствий, от которых он сам избавлен. Имея больше него прав исчислять и взвешивать злополучия человеческой жизни, я добросовестно исследовал их и доказал ему, что ни за одно из этих несчастий нельзя винить провидение и что источником их является не столько природа, сколько злоупотребление человека своими способностями» (с. 374).

Без комментариев.

Замечу только, что Руссо после упреков Вольтеру сам тут же подменяет понятие Бога понятием «природа». Что для него почти до конца жизни, даже в «Исповедании веры савойского викария», было чрезвычайно характерно и принципиально. Мы не можем видеть или касаться, или судить о непостижимом Боге иначе, чем через созерцание его творений.

Кроме того, Руссо уходит от серьезного обсуждения проблемы, сводя ее к частным нападкам. *Эта позиция не имеет также ничего общего и с деизмом, как пишут многие историки.*

Вольтер, ссылаясь на занятость, «отложил на время свой ответ».

Таким ответом явился присланный Жан-Жаку роман «Кандид». По-моему, ответ выглядел убедительно и совсем недурно.

Само собой, это один из самых блестящих и саркастических философских романов в мировой литературе.

Руссо же заключает тем, что сам он ничего сказать о «Кандиде» не может... *«потому что не читал его»*... Каково?! Это несовместимо с его сочинительской учебой и восхищением всем, что писал Вольтер. Это противоречит даже его формуле разрыва.

А именно... 7 июня 1760 г. Руссо направил Вольтеру последнее письмо. Поводом стало то, что письмо к Вольтеру от 1756 г. было опубликовано в Берлине без ведома Руссо, а задетый Вольтер истолковал это, естественно, иначе. Руссо решил объясниться. После чего начертал, в частности, следующие слова, в высшей степени не соответствующие приветливой, как правило, эпистолярной манере Руссо. Зато показывающие его способность и к резкой прямоте.

«Я не люблю вас, сударь: вы причинили мне самые мучительные страдания, — мне, вашему ученику и почитателю ... Если я не могу чтить в вас ничего кроме ваших талантов, это не моя вина. Я никогда не откажу им в уважении, которого они заслуживают (...) Прощайте, сударь» (с. 470–471).

И при этом из-за обиды не прочесть «Кандида»!

Грустная человеческая история.

Но для исследователя Просвещения — разумеется, весьма плодотворная, ибо показывает *умственные полюса эпохи* через разделяющий их огромный интервал. Полюса эти затрагивают отнюдь не только проблему теодицеи. И возможно, поверх противоречия они сходятся. Поскольку мы имеем достаточное право считать Руссо человеком внецерковным. А Вольтера отъявленным индивидуалистом — конечно, на совсем иной, его собственный лад.

10 О заключительных, не менее лихорадочных книгах второй части «Исповеди», оборванной чуть ли не на полуслове и без убедительных объяснений. И особенно о Двенадцатой книге. Эта книга отличается особой отрывочностью и беспорядком.

Начнем с того, что на сей раз все внутренние душевные коллизии Руссо разворачиваются по событийной канве несравненно более жестокой и ужасной, чем все, что Жан-Жаку доводилось переживать до того. Он ищет тайную связь между событиями и не находит ее.

Толчком к официальным преследованиям послужило печатание в Голландии в 1762 г. «Эмиля» и «Общественного договора», параллельная публикация произошла и во Франции. Людовик XV был взбешен, и робкие примирительные попытки его личного друга герцога Люксембургского ни к чему не привели. Архиепископ Парижский проклял автора. Парламент готовил – и принял-таки постановление об аресте Руссо. Против Руссо объединилась вся правящая верхушка. Вся знать. В Женеве, где влияние французского двора было тогда решающим и где против Жан-Жака ополчился Вольтер, книги Руссо тоже решено было сжечь. Сожгли трактаты Руссо более чем в 20 городах обеих стран. И вскоре, вслед за Францией, в Женеве тоже было принято решение о его задержании.

Все разразилось внезапно. Руссо довелось в одиночестве, ночью, бежать из Франции – за несколько часов до появления судебных приставов.

Руссо рассказывает, что ему по желанию супруги маршала, герцогини Люксембургской, пришлось приехать к ней в два часа ночи. Отношения Жан-Жака с ней были неровными: сначала она к нему очень благоволила, затем охладела (с. 477). Он давно тяготился ее окружением и признается, что побаивался ее, ибо знал, что в очередной раз зависел от сиятельной дамы.

Так или иначе, она в ночном разговоре сообщила ему, что спастись нужно тотчас же, к утру должны появиться

приставы. Он попрощался с ней и с безмолвным и крайне взволнованным маршалом.

Тот проводил Руссо через сад к калитке, от которой у Руссо был свой доверенный ключ. Жан-Жак «вместо того, чтобы положить ключ к себе в карман, молча отдал его герцогу. Он взял его с удивительной поспешностью, о которой я невольно часто вспоминаю с тех пор».

Эта деталь выразительно подтверждает зоркость и поразительную ранимость Руссо даже в пустяковых вещах. Боже мой, вся судьба его решалась и переламывалась в этот момент, а он подметил, каким именно машинальным движением герцог брал ключ (кстати, отныне не нужный Руссо)!

Это так для него показательно. Он был, как мы уже не раз имели случай убедиться, импульсивным и тонкокожим, более всего на свете дорожил ласковостью и привязанностью к нему и их безоговорочной подлинностью (о чем сам пишет не раз). И вот он из-за этого чертового ключа вдруг заподозрил, что истинные чувства герцога не столь уж глубоки. Инстинктивный жест был важен именно потому, что он любил маршала, будучи уверен, что и тот всегда сердечно любил его.

«Мне не случалось переживать в своей жизни более горькой минуты, чем это расставанье. Объяты́е было долгое и безмолвное, мы оба чувствовали, что это было последнее прощанье» (с. 507).

11 После судорожных очередных поисков прибежища и переездов – Руссо в конце концов обосновался в селении Мотье, т. е. в Невшателе, той части Швейцарии, которая принадлежала тогда прусскому королю. Для чего, разумеется, требовалось соизволение Фридриха Второго.

В высшей степени любопытно и чрезвычайно характерно для Руссо, каким образом это у него получилось.

11 июля 1762 г. он отправляет из Мотье незнакомому королю нечто вроде письма, скорее записку, которая уже своей неподобающей отрывочной краткостью и отсутствием даже обращения могла быть сочтена неслыханно дерзкой, если не выразиться более прямо. Но что там форма записки по сравнению с ее содержанием!

Руссо начинал свою просьбу следующими словами: «Я высказывал много дурного о вас; я сказал бы, может быть, и еще кое-что. Однако, изгнанный из Франции, из Женевы, из кантона Берн, я вынужден искать прибежища в ваших владениях. Моя ошибка состоит, пожалуй, в том, что я не начал сразу с этого. Но мое приветствие из тех, которых вы достойны. Сир, я не заслужил от вас никаких милостей, да я и не прошу о них. Но я счел необходимым сообщить Вашему Величеству, что нахожусь в ваших владениях и хотел бы здесь и остаться. Вы можете располагать мной, как вам будет угодно» (*Lettres... p. 176*).

Недурно, не правда ли? Не думаю, что на подобную выходку был бы способен, тем более учитывая обстоятельства, скажем, Вольтер или кто-либо другой, кроме Жан-Жака. Здесь весь Жан-Жак.

Впрочем, еще не весь.

Фридрих II был, как известно, воинственным тираном, за что его и не любил Руссо, боявшийся в приведенном вынужденном письме поступиться принципами. Но не только тираном, а человеком достаточно сложным и по-своему красочным. С французскими просветителями он вел, как и наша Екатерина, свою загадочную игру. (Добавлю, что герцог Люксембургский был тогда губернатором Невшателя.) Так или иначе, король быстро согласился, передав свое соизволение через маршала! Незатруднительно предположить, что Руссо имел некие основания на это рассчитывать, хотя догадка, подтверждаемая началом его августовского письма к герцогу, ничуть не смягчает фантастический тон «просьбы».

Но этим дело не заканчивается.

Согласившись, Фридрих передал через милорда маршала (таков был титул герцога в качестве правителя Невшателя) пожелание, чтобы Руссо не написал ничего такого, особенно касательно религии, что могло бы привести к волнениям весьма консервативных жителей провинции. Как мы увидим, предусмотрительность короля была точной и пророческой. Руссо к середине августа ответил другу-герцогу, что он ручается за свое законопослушное поведение в качестве подданного, но... «что касается в целом моей манеры писать на какую бы то ни было тему, то она свойственна мне, рожденному республиканцем и свободным человеком. И, поскольку я не печатаю это в государстве, в котором проживаю, я ничем не обязан его суверену, потому что он не является компетентным судьей в том, что делается независимо от него человеком, который не рожден его подданным. Вот каковы мои чувства, Милорд, и каковы мои правила. Я никогда их не преступал и никогда не преступлю. Я говорил все то, что имел сказать, и не люблю переливать из пустого в порожнее» (р. 182–183).

Но и это еще не все.

1 ноября того же 1762 г. Жан-Жаку вздумалось вновь направить Фридриху письмо (р. 186). Начинается оно совсем иначе, чем предыдущее. «Государь, вы мой покровитель и благодетель, и я приношу вам сердечную признательность. Я хочу поквитаться с вами, если это в моих силах». Далее следует, впрочем, нечто еще более ни с чем не сопоставимое. Способное заставить, пожав плечами, с грустью пожалеть нашего великого и неисправимого сумасброда.

Руссо жарко просит короля отказаться от новых войн. «Загляните же хорошенько в свое сердце, о Фридрих! <...> Могу ли я увидеть Фридриха справедливым и готовым наконец-то населить свои владения счастливым народом, которому он был бы отцом, и Жан-Жак Руссо, враг королей, придет умереть от радости к подножию его трона. Пусть Ваше Величество, Государь, соизволит оценить мое рвение и мое глубочайшее почтение».

Вот такие дела. Но ведь это не просто витание вне реальности, не слепота, даже не простодушие и мечтательность, и уж конечно не глупость и не психопатия, это вообще не известно как назвать. Хотя многие из названных оценок следует признать достаточно убедительными. Однако в контексте всего, что нам известно о Руссо, они выглядят слишком уж бедными и плоскими. По-моему, соразмерять поступки Руссо нужно не с реальностью прусской монархии, а по другой, если угодно метафизической, шкале.

Единственное, что верно для начала, вприкидку – это что перед нами снова Жан-Жак, каков он есть. Крадетса в голову даже жестокая мысль: Руссо сам был повинен во всех провалах своей судьбы. Как и Дон-Кихот в своих бесчисленных злоключениях. Потому что принадлежал к редчайшей породе людей, которым кажется не только возможным, но и естественным изменить весь ход человеческих дел.

Понимание такого рода чудачков необходимо вывести за пределы обычной (и в своих пределах вполне оправданной) рассудительности. Оно не должно быть ни однозначным, ни грубо-эмпирическим.

Мы, до одурения трезвые и практичные, не смеем смеяться над *такими* слепцами. Почему? *Они заглядывают за пределы наличного.* А это слишком принципиально для уяснения пружин парадоксального движения вперед истории человечества. Вспомним, например, что такое «Пруссия» и немцы *сегодня*.

Ничто и никогда, само собой, не сбывается быстро, буквально и адекватно. Но исторически и логически развитие общества бездонно и непредсказуемо. «Слепцы» – наряду с подлинными, т. е. не зашоренными, прагматиками – во многих решающих философски-исторических отношениях и обстоятельствах суть поводыри. Нонконформизм слишком трудно отделить непререкаемой жирной чертой от «романтического оптимизма», а романтизм от мудрого безумия.

Рискнем наречь Руссо Дон-Кихотом Просвещения.

12 А что Фридрих? Он ограничился тем (см. «Исповедь», с. 520), что с усмешкой заметил герцогу Люксембургскому: подопечный «изрядно его распек (bien grondé)». Руссо рассказал о своем обращении к королю в 12-й книге «Исповеди», отнесясь, стало быть, к своему поступку всерьез. «Я осмелился написать ему на эту тему, взяв непринужденный тон, который должен нравиться людям его склада, я вознес к нему тот святой голос правды, который лишь немногие из королей способны слушать... Я, может быть, сказал не то, что следовало, и взял не тот тон, который надо было взять. Я могу отвечать только за чувство, заставившее меня взяться за перо».

Что ж, если и вообразить себе Руссо с бритвенным тазиком на голове, то короля придется обратиться в цирюльника.

После бегства из Франции Руссо спешно переезжает в конце концов на островок Сен-Пьер, где обретает совсем кратковременную, но отрадную передышку. Об этом – ниже.

Далее, после бегства из Мотье, перед нами проносится картина все новых преследований и несчастий странника, кульминацией которых является эпизод, когда дом, где разместились Жан-Жак с Терезой, был ночью подвергнут погрому, забросан камнями и т. п. Была попытка взломать заднюю дверь. Один из камней грохнулся рядом с постелью писателя. Причиной были грубые нападки местного духовенства, вызвавшие злобу обывателей Мотье.

Позже его переезды становятся непрерывными. Руссо спасается бегством из-за угроз, страхов и словно от самого себя.

Один за другим (иногда он попадает туда опять благодаря покровительству фрондирующего принца Конде) сменяются Лондон, Лион, Бургуан, Флери, Гренобль, Невер, Три, Макен и т. д. Повсюду вместе с ним – бедная Тереза.

Пока в 1770 г. под конец жизни Руссо не оказывается вновь по временному паспорту в Париже, на улице Плятриер, на четвертом этаже чужого дома, под полицейским надзором. Впрочем, власти смотрят на чудака сквозь пальцы. (Все тот же принц!)

Там он и падает навзничь на пути из деревушки Эрменонвиль, где он согласился под занавес погостить у очередного покровителя вместо постылого Парижа.

Это произошло 2 июля 1778 г.

(Не успев, между прочим, закончить также и десятую, заключительную «Прогулку одинокого мечтателя», целиком содержащую пространные выражения пылкой признательности Терезе.)

Последняя книга «Исповеди» пестрит именами врагов и бесчисленных новых приятелей или почтительных посетителей, симпатичных, но не читавших его книг, не разделявших его взглядов, не понимавших, с кем они имеют дело, и не могущих заменить ему прежних, близких по образованности и уровню друзей.

Материальные обстоятельства Руссо между тем за два года до смерти заметно улучшились благодаря скромным пожизненным рентам, которые он получил от одного из своих издателей и от милорда маршала (от половины которой он отказывается, как и от упоминания о нем в герцогском завещании). Правда, уровень существования оставался по тогдашним меркам весьма и весьма невысоким.

Однако впервые он мог больше не заботиться о куске хлеба и незадолго до смерти бросить постылое всегдашнее ремесло переписчика нот, которое к тому же было ему уже не под силу.

Руссо посвящает герцогу Люксембургскому несколько прочувствованных страниц и оплакивает смерть старца, очень дорогого его сердцу. Это был единственный человек из знатнейших верхов французского общества, с которым ему удалось по-настоящему подружиться. Ничего удивительного, что поэтому в соболезнованиях герцогине он пишет и о себе.

Объективности ради следует заметить, что герцог долго до кончины перестал отвечать на письма Руссо. Они ему, кажется, надоели.